

Павловский, А. Говорит блокада [Текст] : о «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина / А. Павловский // Ради жизни на земле : литературно-критический сборник / сост. В. Лавров, А. Пикач. – Л.: Худож. лит., 1986. - С. 107-119.

Не дам забыть...

Ольга Берггольц

Девять лет назад были опубликованы первые «Главы из Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина. Затем они вышли вновь, но уже в виде отдельной большой книги, тщательно, любовно изданной, со множеством фотографий. Как-то сразу чувствуется, что среди типографских рабочих, наборщиков, художников, фотографов, переплетчиков были люди, вложившие в это издание часть души и собственной памяти. В теперешней «Блокадной книге» появились, наряду с прежними, дополняя их, новые материалы, в том числе пространные дневники. Дневник шестнадцатилетнего Юры Рябинкина приведен полностью.

Но по своему характеру книга осталась прежней — разноголосой, полифоничной, внешне почти разрозненной, записи и голоса перебивают друг друга, возникают и исчезают. Большие дневниковые фрагменты, появившиеся во второй части, тоже не существуют отдельно, они живут среди множества других свидетельств, как бы комментирующих, дополняющих, а иногда и невольно поясняющих их. Писатели верно поступили, сделав вторую часть такой же «многолюдной», как и первую. Дневники Юры Рябинкина, Г. А. Князева, Л. Г. Охапкиной, хотя и выделяются по своей величине и завершенности, фактически, однако, не отделены от всей массы исповедальных свидетельств. Три главных героя второй части — это действительно, как сказано в «Блокадной книге», «трое из трех миллионов».

Читать эту книгу трудно. Она — ожившее, заговорившее страдание. Это — книга-боль. Незаглохшее горе выплескивается, бьет через край на каждой странице, из любой записи. Читаешь, и перехватывает дыхание; жгучее сострадание и печаль сжимают сердце. Наверно, так читают — читают-переживают! — эту книгу все: и те, кто не жил в блокаде, и кто, по счастью возраста, вообще не видел войны, но совсем по-особому воспринимают ее ленинградцы-блокадники. Неужели все это было с нами, спрашивают они самих себя, неужели именно мы, обыкновенные люди, все это вынесли?

Надо сказать, что память блокадников удивительна. Какая отчетливость в блокадных рассказах, во множестве записанных А. Адамовичем и Д. Граниным, какая немыслимая стереоскопичность, какая рельефная дробность деталей! Война врезала свои письмена в души людей глубоко и навечно.

Когда-то Ольга Берггольц писала: «Я вмерзла в твой неповторимый лед». Она сказала это, как и всегда говорила, не только о себе, но о всех нас, ленинградцах времен осады. Она оказалась только чуточку не права, когда думала, что вмерзла в этот лед «на много лет вперед». У нее, значит, тоже была надежда, что годы лечат, если и не излечивают, то все же утишают нашу память. Нет, оказалось, что это — навсегда! У всех ленинградцев, переживших тогдашнюю трагедию, лежит на душе нетающий — блокадный — снег. Под снегом и льдом нашей нетающей памяти застыло, замерло, впало в анабиоз неумершее страдание. Голоса, звуки, лица, множество людей, чудовищных подробностей, трагических ситуаций — все это живет в глубине наших душ, как в ледяных мавзолеях. И мы, конечно, боимся — да, боимся! — продувать своим теплым сегодняшним дыханием эти ледяные поверхности: появятся окошки, в которые лучше не заглядывать.

Конечно, о «Блокадной книге» можно говорить и как о литературе. Если кто сможет. Но здесь всякая литература как-то поневоле отступает на второй и даже десятый план. Это — больше, чем литература. Это тот случай, возможный, наверно, только в документальной прозе, когда все литературное и собственно художественное, в том числе и совершенно конкретные, а значит, литературные усилия авторов, стремившихся концептуально расположить материал, дать комментарии, вставить тот или иной официальный документ, который был неизвестен рядовым блокадникам, но напрямую касался их жизни, а чаще всего, их смерти, — словом, так называемая литература как бы оплывает в этом испепеляющем жару, она не может сбалансировать свои привычные средства, рассчитать, взвесить, она понимает, что здесь не нужны ни метафоры, ни эпитеты, ни всякая другая беллетристическая утварь и шелуха, а нужно лишь то, что на самом деле есть и было, в первозданности. И писатели, повинувшись душевному такту, правильно сделали, что, не думая ни о какой «изысканной словесности», дали людям выговориться самим. Они никому не мешают, ибо они, фронтовики, прошедшие войну, знают: горе — свято. Они вообще очень редко берут слово сами — только чтобы пояснить, напомнить, или, что чаще, прокомментировать рассказ из сегодняшнего дня. Они не столько написали эту книгу, сколько организовали ее. У них — множество соавторов. «Блокадная книга» по своему смыслу, звучанию и по своей, так сказать, авторской коллективности — произведение народное. Может быть, в этом случае само слово «книга» следовало бы писать с большой буквы: «Блокадная Книга».

Говоря об А. Адамовиче и Д. Гранине как об организаторах созданной ими в соавторстве с народом Книги, я нисколько не преуменьшаю их личной писательской роли. Наоборот, можно сказать, что именно о такой роли, едва ли не уходящей в безымянность,

мечтает каждый настоящий писатель. А. Адамович и Д. Гранин пошли на тяжкий душевный труд. Они посетили около двухсот ленинградских квартир, в которых живут бывшие блокадники. Со стесненным сердцем они вызывали людей на рассказ, на воспоминания, иногда непосильные. Они записали на магнитофонную ленту и в блокноты множество исповедей и, отобрав то, что им казалось наиболее выразительным или характерным, попытались расположить материал в такой последовательности, чтобы ленинградская блокада выступила со страниц Книги по возможности целостно и неискаженно. Им помогало то, что они оба знали войну. А. Адамович был мальчиком-партизаном в Белоруссии, а впоследствии стал автором знаменитых книг «Я из огненной деревни...» (в соавторстве с Я. Брылем и В. Колесником), «Хатынская повесть», «Каратели». Он имел опыт вслушивания в народную трагедию и понимание огромной силы документального свидетельства. Д. Гранин воевал на Ленинградском фронте, он видел блокадный город, и он, так же как и А. Адамович, имел за плечами опыт документалистики. Но и им, прошедшим войну, было, по их признанию, мучительно трудно не только слушать ленинградцев-блокадников, но прежде всего вызывать на исповедь, будить память, выдувать лунки в нетающем блокадном снегу. Имеем ли мы право? Вот ведь какой вопрос, по признанию А. Адамовича и Д. Гранина, стоял перед ними, когда они решились идти по ленинградским квартирам. Их опасения подтвердились. Ведь первый жест многих, к кому они приходили, был жест самозащиты: я не могу, я не хочу рассказывать, мне слишком тяжело. Временами им, писателям, пришедшим со своим магнитофоном, казалось, что они безжалостны, что они действительно не имеют права снимать защитный слой с души, изрубцованной войною. Рассказы ленинградцев подтверждают эти опасения.

Но ведь именно в Ленинграде родились и навечно врезаны в гранит слова: «Никто не забыт, и ничто не забыто».

Писатели сохранили записанные рассказы неподправленными, неотредактированными. Горе «нелитературно», оно повторяет себя, мучительно останавливается, топчется на месте, возвращается вспять, оглядывается... Все это сохранено в «Блокадной книге» в неприкосновенности, и потому-то всему веришь — как веришь человеку, который плачет.

И вот, прочитав эту Книгу, потрясенный всем услышанным и всем (если ты сам блокадник) как бы вновь пережитым, думаешь: а почему же так поздно, почти уже на самом краю блокадной памяти заговорила Блокада? Ведь все чаще, кучнее, целыми обвалами жизнью уходят в небытие, в ленинградскую многострадальную землю, к своим мертвецам последние свидетели блокады. Великое «блокадное братство», о котором писала Ольга Берггольц, рдеет, его круг сужается. Пока создавалась и печаталась «Блокадная книга», умерли

десятки людей, от которых А. Адамович и Д. Гранин успели записать их исповеди, а сколько кануло и канет в безвестность... Память обламывается, крошится, осыпается. Заслуга создателей «Блокадной книги» заключается, может быть, прежде всего в том, что они не упустили этот «последний срок», поняли, что еще немного — и все будет непоправимо.

Конечно, о ленинградской блокаде написано много. Есть хорошая художественная литература, романы, повести, рассказы, очерки, стихи, есть, наконец, и множество воспоминаний, принадлежащих перу прославленных военачальников, офицеров, солдат, знаменитых летчиков, подводников, снайперов. Но блокада — явление огромное и сложное. Осажденный Ленинград — это не только армия, но прежде всего его жители — женщины, мужчины, дети, которые жили и умирали в своих квартирах, работали на заводах и по мере сил — и выше всяких сил! — помогали фронту, опоясавшему их город со всех сторон. Это их уничтожал враг голодом и бомбежками, он стрелял в упор по их жилищам и улицам, нацеливал свои пушки на трамвайные остановки и на всемирно знаменитые архитектурные ансамбли. Он стремился убить и красоту, и человечность, чтобы человек среди ледовых городских торосов и голода одичал, стал зверем. Зима 1941—1942 года унесла сотни тысяч жителей и навсегда осела на души живых невыносимой памятью боли. Мы часто говорим о мужестве Ленинграда, но не должны ли мы преклонить главу и перед его мучениями?

Его муки были молчаливы. Большая земля долго не знала об истинном положении в Ленинграде, и только облик ленинградцев, эвакуированных зимой и весной 1942 года, ударил по сердцу страны, догадавшейся о масштабах народной трагедии.

Мы отомстим за все, о чем молчали,
за все, что скрыли от Большой земли.

Это слова Ольги Берггольц из ее стихотворения, написанного в январе 1943 года по поводу прорыва блокады.

Все это я говорю к тому, что, хотя о Ленинграде написано действительно много, однако сам горожанин — не полководец, не солдат, а горожанин — ничего еще не рассказал о себе, и великое, гордое блокадное молчание, длившееся десятилетия, подошло к своему «последнему сроку». Дальше — забвение.

Молчание горя священно. Но есть право народа, не менее священное, знать о себе все, сполна оценить свой подвиг и свои муки. Потому-то, говорят писатели о своей работе над книгой, «мы настаивали с жестокостью, которая нам самим была тягостна и даже стыдна. Мы просили, ссылаясь на историю, на новые поколения, которым надо знать все как было...». «Люди, рассказывая, плакали, умолкали, не в силах справиться с собою... Они боялись вернуться в блокадный город, в свою заиндевелую квартиру...» Молчание

становилось самозащитой.

Блокада, если иметь в виду память, и сейчас живет в нашем городе. Она просыпается по ночам от неслышной канонады, от шума обваливающихся стен, от плача голодного ребенка, умершего десятилетия назад, она замолкает днем на полуслове, она боится прикасаться к опасным запальным шнурам, уходящим в прошлое.

Блокадники иначе видят свой город, чем новые жители. Ведь они ходят не просто по улицам города, а по улицам, площадям и переулкам своей памяти. Один из них вспоминает:

«И вот уже весенний день (весенний, потому что уже снега не было), и идет машина, и на ней трупы лежат... Я и сейчас вижу то место, где идет эта машина, как она идет. И здесь нужно только отвернуться. Но теперь уже я отвернуться не могу...» Он и сейчас видит эту машину, она, не видная другим, тяжело ползет по улице его памяти.

Вот другой отрывок. «Утром встаю. Никогда никого не осуждаю. За рукав никто не тянет. Иду куда хочу. Куда сегодня пошла? Пошла из церкви на Марсово поле, потом в церковь «Спаса на крови», на канал Грибоедова. Постояла у больницы, где погиб мальчик. Стояла у Казанского собора, где умерла моя сестра, оставив ребенка. И пешком пошла по Невскому. И смотрела всем в глаза — не встречу ли кого-нибудь? Нет. А только видела, что несут громадные сетки апельсинов».

Меня эта запись потрясает до глубины души. Не знаю, как других. Может быть, надо пояснить, что у «Спаса на крови» складывали трупы? Но не ясно ли, что женщина ходит по скорбным местам своей неутешной памяти? Не обманывайтесь словами: «За рукав никто не тянет. Иду куда хочу». Это ведь, как струна, звенит одиночество. Какие гениальные слова у этого горя! Вот она — Блокадная Книга, живущая в народе.

Или — из другой записи, слова о хлебе. Звучат они как молитва: «Вы меня послушайте. Вот сейчас, когда я встаю, я беру кусок хлеба и говорю: помяни, господи, всех умерших с голоду, которые не дождались досытья поесть хлеба...»

Наверное, так и создавались все молитвы мира — на высотах духа, в пропастях страдания.

А какие эпические, библейские по своему смыслу картины вдруг вскользь вырисовываются в «Блокадной книге», будто мимоходом набросанные трагическим карандашом Блокады!

«Видела на проспекте Энгельса такое: везет старик полные дровни трупов, слегка покрытых рогожей. А сзади старушонка еле идет: «Подожди, милый, подсади». Остановился: «Ну что, старая, ты не видишь, какую кладь везу?» — «Вижу, вижу, вот мне и по пути. Вчера я потеряла карточку, все равно помирать, так чтоб мои-то не мыкались со мной, довези меня до кладбища, посижу на пеньке,

замерзну, а там и зароят»... Был у меня в кармане кусочек хлеба граммов сто пятьдесят, я ей отдала...»

Блокадная Книга всегда реально существовала и существует в памяти Города. Она рассредоточена по множеству судеб, состоит из тысяч и тысяч страниц, еще никем не прочитанных, она почти нема, так как не любит, не может раскрывать себя. Из этой миллионнолистной Книги иногда вылетали искры обжигающего мир страдания. Такой была дневниковая страничка Тани Савичевой, потрясшая человечество.

А. Адамович и Д. Гранин свершили благородное дело — они частично собрали разрозненные страницы Блокадной Книги, приоткрыли ее для чтения, сделали слышимыми многочисленные голоса людей, умерших и живущих.

Как уже сказано, хотя авторы — организаторы «Блокадной книги» нечасто берут слово сами, но они далеко не нейтральны, мы постоянно слышим их суждения, размышления, уточнения, сомнения, догадки. Они — писцы, записыватели, но они и живые свидетели и судьи.

Писатели стремятся понять блокадные события не только в их собственной, внутренней совокупности, но всю блокаду целиком в ее соотнесенности с войною, с проблемами гуманизма, морали, ответственности, вины и возмездия.

На одной из встреч, рассказывают авторы, когда зашла речь о жертвах, один «не очень даже молодой человек воскликнул: „Зачем, ну зачем нужны были такие страдания? Сдать надо было город. Избежать всего этого. Для чего людей было губить?..“».

Конечно, говорят авторы, легче всего было бы отмахнуться от таких высказываний, но отмахиваться не следует, надо терпеливо и убедительно рассказывать о том, что было, как все происходило на самом деле, не скрывая при этом и реальных, роковых просчетов с нашей стороны. Главная цель «Блокадной книги» заключается именно в этом. Слова «Зачем, ну зачем нужны были такие страдания?» не столь уж безобидны, хотя они и объясняются — в данном случае — простым незнанием, непониманием и упрощенностью взгляда. Куда хуже и серьезнее, когда нечто сходное, но уже на некоей, едва ли не «научной» основе начинают говорить в своих солидных работах, статьях, книгах некоторые западные авторы. «В западной литературе, — пишут А. Адамович и Д. Гранин, — мы встретились с рассуждением... где не было недоумения, не было ни боли, ни искренности, а сквозило скорее самооправдание капитулянтов, мстительная попытка перелицевать бездействие в доблесть... Они сочувственным тоном вопрошают: нужны ли были такие муки безмерные, страдания и жертвы подобные? оправданы ли они военными и прочими выигрышами? человечно ли это по отношению к своему населению? Вот Париж объявили же открытым городом... И

другие столицы, капитулировав, уцелели. А потом фашизму сломали хребет, он все равно был побежден — в свой срок...»

Авторы «Блокадной книги», прервав на время рассказы ленинградцев, из которых жуткими видениями встают бесчисленные фигуры умирающих горожан, обращаются к документам. Они приводят цитату из секретной директивы 1-а 1601/41 немецкого военно-морского штаба «О будущности города Петербурга» от 22 сентября 1941 года. В ней говорилось: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли...» Далее следовало обоснование: «После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта... Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и непрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты...» Это указание повторялось неоднократно. Сейчас с ним можно ознакомиться в книге документов «Нюрнбергский процесс» •.

Авторы книги правы, когда наряду с рассказами ленинградцев приводят и эти цитаты — из некогда строго секретных документов, фашистских директив и указаний. Гибель великого города («большой населенный пункт») была запланирована и рассчитана. Ленинград (и Москва) обрекались на полное уничтожение. «Но подвиг ленинградцев, — справедливо пишут А. Адамович и Д. Гранин, — вызван не угрозой уничтожения... Тогда, в блокадные глухие дни, в снежных сугробах Подмосковья о ней лишь догадывались, ее представляли, документами она подтвердилась куда позднее. Нет, тут было другое: простое и непреложное желание защитить свой образ жизни. Кто-то ведь должен был. Должен был схватиться с фашизмом, стать на его пути, отстаивать свободу, достоинство людей...»

«Блокадная книга» многообразно раскрывает эту — победоносную! — суть борьбы и трагедии Ленинграда.

Население Ленинграда самим фактом своего существования в стенах осажденного города придавало силы борющемуся фронту. Поэт С. Наровчатов, воевавший под Ленинградом, сказал (в книге приводятся его слова): «А ведь мы не смогли бы столько держаться там, голодные и обессиленные, если бы рядом не было живого города, огромного и живого Ленинграда! Просто лес, просто болото так защищать невозможно было бы».

Из множества рассказов, услышанных, записанных, а затем отобранных по мере своей значимости для «Блокадной книги», перед нами постепенно вырисовываются многочисленные истоки жизнестойкости и победоносности блокадного Ленинграда. На первый взгляд, трудно сказать, какие именно из них были самыми главными, и авторы Книги тоже не стремятся к тому, чтобы какие-то истоки поставить на первое место, а какие-то на третье, но самый вопрос:

«Откуда брались силы, откуда возникла стойкость, где пребывали истоки душевной крепости?» — этот вопрос, сформулированный ими в самом начале, является, безусловно, наиглавнейшим.

И вот из множества рассказов, больших и маленьких, из черточек, из реплик, из дневниковых записей, из отрывочных воспоминаний этот ответ постепенно вырисовывается, формируется и становится четким, убедительным: истоки стойкости Ленинграда заключены в высоте нравственного мира его жителей. Да, конечно, люди были разными, и вели они себя неодинаково, были характеры стойкие, несгибаемые, были слабые, были люди исключительной храбрости, но были и боязливые. «Блокадная книга» рисует нам многоликий и разнообразный людской мир. Но главное заключалось все же в том, что обыкновенный, средний, ничем особо не примечательный горожанин, как правило, поднимался выше своей судьбы, он превосходил собственные возможности, он перешагивал отмеренные ему пределы. Город, затянутый петлей блокады, расстреливаемый в упор, лишенный хлеба, воды и света, не только не ослеп, не запросил пощады, но противопоставил врагу силу, не учтенную в директивах «о будущности города Петербурга».

В теперешней второй части эта мысль нашла себе новое подтверждение. Дело в том, что если в первой части мы знакомимся с воспоминаниями, то есть с таким душевным опытом, какой уже пропущен через громаду лет и, возможно, помимо воли, уже как-то откорректирован временем, то дневники — это ведь голоса прямо оттуда — из страшных дней блокады. Через дневники мы слышим блокаду по прямому проводу. И вот оказывается, что дневники, то есть прямые, не искаженные расстоянием свидетельства, не опровергают многочисленных воспоминаний, собранных в первой части Книги, не спорят и не расходятся с ними. Они, может быть, более точны и скрупулезны в деталях, в штрихах, в датах, в нюансах, в именах, что и неудивительно, так как фиксировался обычно текущий день, но в главном — в мирочувствовании — расхождений нет. Из воспоминаний и из дневников вырисовывается образ борющегося и страдающего народа, объединенного общей, пронзительной и небывалою судьбой.

Три главных героя второй части — ученый Г. А. Князев, школьник Юра Рябинкин и женщина-мать Л. Г. Охупкина — на редкость не сходны между собой: ни по характеру, ни по роду занятий, ни по жизненному опыту. И текущий блокадный день они фиксируют по-разному: один с осознанной целью сохранить для потомков великий момент истории, другой импульсивно и внешне беспорядочно, без какой-либо оглядки на «историю» заносит все, что именно ему, шестнадцатилетнему подростку, интересно, третья пишет о борьбе за жизнь детей, поглотившей без остатка все ее физические и душевные силы.

Писатели не дают эти дневники подряд, они их перемежают. Мы читаем об одном и том же дне то у одного, то у другого, то у третьего. По ходу дела подключаются и другие дневниковые записи, не такие пространные, но их, пожалуй, не меньше, чем мемуарных свидетельств в первой части «Блокадной книги». Такое расположение материала создает своеобразный эффект панорамирования, мы видим город не только с разных мест обзора, но нас не покидает ощущение его многолюдности, а значит, и его внутренней, глубинной неизрасходованной силы.

Тот, кто читал эти дневники, не сможет забыть, с каким упорством отстаивала себя человеческая жизнь, с какой силою сопротивлялось помраченное голодом сознание угрозе распада, с каким невероятным напряжением возвращал себя человек к нормам морали, достойного поведения.

Даже в самую тяжкую пору осады Ленинград жил напряженной и многообразной жизнью. Он не только боролся с голодной смертью, но и ковал победу: на заводах ремонтировались танки и изготавливались снаряды, выходили на крыши дежурные МПВО, налаживалась «Дорога жизни» через Ладогу, собирались на свои заседания ученые, стал работать блокадный театр, прозвучала Седьмая симфония Дм. Шостаковича, издавались книги, хитроумно изыскивались ресурсы продовольствия, шла напряженная и многоразветвленная партийная работа. Умиравший от голода город был тем не менее живым, он оказался неистребимым. Подобно Фениксу, он ежедневно возрождался из огня и пепла, и его знаменитые архитектурные ансамбли уже тогда переходили на кальки реставрационных мастерских, тускло освещенных блокадными коптилками.

Свидетельством живучести города, силы человеческого духа были и сами дневники, то есть потребность в них, возникшая, как оказалось, у множества ленинградцев. Пожалуй, никогда не писалось столько дневников, как тогда, в годы блокады и в особенности в страшную, ледовую, смертную зиму 1941 — 1942 года. По-видимому, исключительно обострилось ощущение историчности переживаемого момента. Обычные люди почувствовали себя невольными участниками великой исторической драмы, трагического действия, разом вовлекшего в себя огромную народную массу. Справедливо говорится о единстве народа в годы Великой Отечественной войны; в блокадном Ленинграде, в особых условиях его жизни это единство выразилось с исключительной наглядностью. Из дневников Г. А. Князева, Юры Рябинкина, Л. Г. Охапкиной, из множества других дневниковых свидетельств, приведенных во второй части «Блокадной книги», видно, как через страшный, нечеловеческий блокадный быт, запечатленный со всеми его ужасающими душу подробностями, возникает и торжествует бытие. Обычные для предвоенной жизни перегородки, служебные и иные, отъединявшие людей,

изолировавшие их по замкнутым бытовым миркам, — эти перегородки, оказавшиеся легкими и никчемными, разрушились. Выступила наружу и властно заявила о себе общность судьбы — судьбы города, народа, государства. Самое страшное, что могло постичь человека, — это распад сознания, души, исчезновение моральных скреп. Эта мысль, иногда четко сформулированная, как в дневнике Г. А. Князева, а чаще не высказанная, сквозит и у Юры Рябинкина, казнившего себя совестью за съеденную кроху хлеба, и у Л. Г. Охапкиной — у всех. Люди стремились сохранить в себе человеческое начало. Г. А. Князев, будучи ученым, подсчитывает, когда после распада тела может начаться распад души, и принимает мужественное решение уйти из жизни, не дожидаясь этого самого страшного для себя момента; Юра Рябинкин, ужасаясь неизбежной гибели («Мне ведь только шестнадцать лет!»), остается человеком до конца; Л. Г. Охапкина поддерживает жизнь ребенка, отдавая ему свою кровь.

У каждого из авторов дневников, опубликованных во второй части книги, сравнительно небольшой «радиус обзора»: они жили в холодных квартирах, ходили по близлежащим улицам, они умирали от голода, то есть самой мучительной смертью. Однако поражает другой радиус — «радиус души». Дневники, судя по всему, велись не только затем, чтобы запечатлеть «исторический момент», подробности быта и т. д., но главным образом для того, чтобы поддерживать себя духовно. Это всегда анализ собственного состояния, своих мыслей, желаний. Это всегда стремление вовремя увидеть опасность в самом себе и — предотвратить ее. Внешний «радиус» мог быть действительно очень малым, но глубина души, как оказалось, не знала пределов.

Вот почему «Блокадная книга», при всей трагичности своего содержания, вызывает не только скорбь, хотя это чувство главное, но и гордость за человека, удивление перед выносливостью его сердца.

Высокий настрой духа, сквозящий в каждом из рассказов, даже и в тех из них, что вплотную приближены к быту, — этот воспламененный и очищенный страданием дух, преобразивший гибель и боль в победу, был наиглавнейшей силой Ленинграда. Но эту мощную, безмерно драгоценную силу надо было организовать, целеустремленно направить, превратить в сжатую победоносную энергию. Писатели верно говорят, что «ничего не делалось само по себе...». Они приводят многочисленные факты руководящей деятельности партийных и советских организаций. «Каждому из городских районов каждодневно приходилось заниматься множеством... проблем, среди которых, оказывается, не было мелких. Их невозможно ни перечислить, ни восстановить в живых подробностях. То, что нам удалось собрать, — всего лишь отдельные факты...»

Да, конечно, никакая книга никогда не сможет вобрать в себя то,

что мы называем ленинградской блокадой, потому что никакая книга не может быть равной народной памяти, безмерности народного горя, величию подвига народа.

И все же «Блокадная книга», созданная А. Адамовичем и Д. Граниным как бы в соавторстве с самой блокадой, дала возможность услышать живой голос тех дней; она, хотя бы отчасти, позволила «выговориться горю», она, наконец, подарила ленинградцам-блокадникам скорбное счастье встречи друг с другом — через много лет после блокадной зимы, через много лет после майской победы.

Говорит Блокада...